# ЗИНАИДА ГИППИУС

# ЗЛАТОЦВЕТ

# Зинаида Николаевна Гиппиус
# Златоцвет

## Аннотация

«Швейцар одного из сумрачных домов на Фурштадтской не спешил открывать двери, хотя гости прибывали один за другим. Это были только мужчины, и швейцар знал, что они идут во второй этаж, к господину Лукашевичу, где будет чтение, потом им дадут чаю с конфетами, потом они поговорят малое время – и сейчас же по домам. Лакей генерала Лукашевича объяснял такую поспешность бариновым нездоровьем, докторскими приказами рано ложиться, но швейцар, который не имел права до двенадцати запереть подъезд и притвориться спящим – и потому терял много очень вероятных двугривенных – утверждал прямо, что тут другие причины…»

# Содержание

I 4
II 16
III 28
IV 36
V 41
VI 51
Конец ознакомительного фрагмента. 55

# Зинаида Гиппиус
# Златоцвет
## *Петербургская новелла*

## I

Швейцар одного из сумрачных домов на Фурштадтской не спешил открывать двери, хотя гости прибывали один за другим. Это были только мужчины, и швейцар знал, что они идут во второй этаж, к господину Лукашевичу, где будет чтение, потом им дадут чаю с конфетами, потом они поговорят малое время – и сейчас же по домам. Лакей генерала Лукашевича объяснял такую поспешность бариновым нездоровьем, докторскими приказами рано ложиться, но швейцар, который не имел права до двенадцати запереть подъезд и притвориться спящим – и потому терял много очень вероятных двугривенных – утверждал прямо, что тут другие причины.

– С чаю да с конфет голых не очень тоже насидишь. Тоже и в другое место потянет.

– Эх, Федот Кузьмич, – возражал лакей. – Каких вы ужинов захотели! Кто ужинать-то станет? Господа все важные, у них, у каждого, по нашему времени, катар желудка, допу-

стим. А с катаром этим теперь не то что ужин, а конфету возьми, да и ту очисть.

– Ну, не одни бывают важные. Бывают и простецкие, из настоящих писателей. То-то голодны, должно быть, уходят, сердечные! А о чем они говорят-то?

– Так, бранятся больше. Слов, конечно, по своему образованию, не говорят, а бранятся важно, да наровят все, знаете, пообиднее, изнутра хватить. Иной позеленеет весь и трясется. Ну, а то и не бранятся даже, а так, языком поворочают – и будет. Тем и кончают.

– А и скучное их житье, Левон Тимофеевич! Да… При чем же там, однако, дамы, Левон Тимофеевич? Ведь и дамы, когда одна, когда две бывают?

– Шут их знает, при чем они! Писательницы тоже, что ли. А между прочим, говорить им много не позволяется. Чтобы, значит, сидели тихо. Одна это ездит, тупорыленькая такая, плотненькая, так она все за нашим генералом ухаживает. Заведут читать – ну, генерал, конечно, на диван и задремлют. Она сейчас ему шитую подушку под бочок сует, и всякое ему внимание. Потому, вообще ей лестно. А другая – ну та иначе, да и лицом похуже будет, бледная, худощавенькая. Писать ничего, слышно, не пишет.

– Она награждает хорошо, – задумчиво произнес швейцар. – Да и другая всегда двугривенный. И что бы генералу побольше дам звать! На них, голубушек, одна надежда!

Разговор этот происходил утром, а вечером швейцар Фе-

дот Кузьмич, пропуская мимо себя гостей в шинелях и пальто, толстых и поджарых, важных и «простых писателей», ждал, не мелькнет ли в дверях черная ротонда той худощавой дамы, которая «награждает хорошо».

В маленькой гостиной генерала между тем становилось тесно. Эта комната была предварительная, в ней не читали, а только собирались перед началом чтения. Низенькая мебель, лампа на овальном столе, альбомы, книги, цветы, то высокие и свежие, то искусственные и запыленные – отовсюду веяло достатком, но вместе с тем каким-то застарелым одиночеством, тем холодом и внешним, поверхностным порядком, за которым следят лакеи пожилого холостяка. Паркет, нигде не покрытый ковром, блестел как зеркало или как лед, дорогие абажуры были неудобны, и резкий огонь бил прямо в глаза и бросал на лица неестественные, неприятные лучи сквозь зеленый и лиловый шелк.

Сам генерал Лукашевич был высокий, худой старик с седыми усами и узкой бородкой клином (щеки он брил), с немного колеблющейся быстрой походкой и всегда сосредоточенным, суровым лицом. Он отличался энергичностью и деятельностью. С незапамятных времен, еще будучи на службе, он имел интерес и пристрастие к литературе и сам время от времени писал какие-то статьи, которые где-то печатались и даже вызывали похвалы. Выйдя в отставку, совершенно неспособный к бездеятельности, он окончательно вошел в кружок солидных писателей, маститых критиков и,

главное, пожилых адвокатов, которые, не удовлетворяясь известностью на своем поприще, все, более или менее, с той или с другой стороны, причастны к литературе. Те, которые совсем не писали – слыли за прекрасных чтецов. И все вообще были пригодны и даже незаменимы для изящных и оживленных прений после реферата.

Общество, председателем которого считался генерал Лукашевич, существовало давно, имело свою историю и свои традиции. Членов было не очень много, и попасть в число их оказывалось нелегко. Вероятно, если б не энергия генерала, который любил это дело и клал в него душу, общество бы распалось, потому что все члены имели свои собственные житейские дела, часто мешающие им и писать, и слушать что-нибудь относящееся исключительно к литературе. Но генерал смотрел на дело твердо и серьезно – и все члены, веря ему, смотрели серьезно. И общество продолжало собираться в квартире председателя, раз в две недели. Читались самые изысканные рефераты – чаще, впрочем, принадлежащие писателям помоложе, которые были менее заняты посторонним и не так ленивы.

Тучный господин с совершенно седыми волосами, закинутыми назад, с большими черными бровями и одышкой, – слушал, наклонив голову набок, болтовню круглолицей, не очень молодой, румяной дамы-писательницы. Дамы допускались изредка, но как гостьи и со строжайшим выбором. Румяная писательница говорила быстро, с тем особенным, ис-

ключительно женским, подчеркиваньем звука «о», которое из другой комнаты делает речь похожей на змеиный свист. Собеседник отвечал ей коротко и немного рассеянно. Под глазами у него были мешки, делавшие лицо неприятным. По воротничкам рубашки и по особого вида запонкам на рукавах всякий безошибочно угадал бы в нем адвоката из дорогих. Два малорослых, белобрысых, прекрасно одетых господина оживленно говорили у дверей. Прислонившись к притолке, стоял высокий молодой человек, с небольшой лысиной. Он был гибок и походил в одно и то же время и на исполнительного чиновника особых поручений, и на провинциального танцора, зараженного байронизмом. Он, впрочем, оказывался поэтом, из тех, которые по своему благоразумию и нежной аккуратности подают надежды самым важным, самым древним и нетерпимым старикам. Такие поэты всегда бывают обласканы, теплы и веселы, особливо если они еще переводят с китайского и японского. Ласткин именно переводил с китайского, не смущаясь даже тем, что не знал языка. Недавно изданная книжка его носила заглавие: «Песни небесной страны».

Напрасно Лукашевич старался навести речь на предстоящий реферат: разговор как начался, так и стоял на одном – живой, взволнованный, горячий, почти общий. Говорили о новом назначении и о сопровождавших его обстоятельствах, причем каждый старался показать, что он лучше знает обстоятельства; рассказывались анекдоты, повторялись тем-то

и тем-то сказанные слова и пояснялись на разные лады. Ласткин знал никому не известную остроту, которую слышал из влиятельных уст начальник того отделения, где служил сам Ласткин. Над остротой посмеялись, но не приняли ее во внимание. Не очень молодой, но кажущийся молодым адвокат из блестящих стал на средину комнаты и начал, с теми же интонациями, рассказывать то, что уже рассказал в самом начале вечера, когда едва пришли трое.

В разговоре не принимали участия только сутуловатый господин с бледным лицом и длинными бесцветными волосами, худощавая и рыжеватая дама с узкими глазами и кротким выражением лица – и, наконец, сам референт, Лев Львович Звягин. Он волновался, перебирая небрежно сложенные листки своего реферата, но, казалось, волновался не тем, что будет читать, а чем-то другим, посторонним. И когда председатель, вынув часы и стараясь уловить секунду молчания, произнес заботливо: «Что ж, господа, надо начать», – он слегка склонил голову в сторону генерала и проговорил:

– Не все съехались… Некоторых дам нет… Сообщение мое не длинно…

Он говорил не громко, не вкрадчиво, но чуть-чуть сладко и томно, растягивая гласные. Вся фигура Звягина производила впечатление и неполности, и вместе какой-то сложности, несомненной значительности и ума. Широкое тело с короткими руками и ногами, гладкие, плотно остриженные, темноватые волосы, чуть-чуть лоснящаяся кожа на ли-

це, усы, падающие вниз, небольшая эспаньолка – все это делало его скорее некрасивым, чем красивым. Серые глаза, лежащие очень глубоко и близко друг к другу около сжатого носа, были беспокойны, иногда ласковы, выразительны, но не печальны. На большом выпуклом лбу, когда брови поднимались кверху, заметны были две-три продольные морщины. На вид ему казалось лет тридцать пять или даже больше.

Генерал взглянул на Звягина с неудовольствием.

– Как угодно-с, можно еще подождать, но я думаю – неудобно будет. Десятый час. Опоздавшие подъедут. В повестках было указано девять.

Разговор о новом назначении продолжался, по-прежнему живой и упорный. Генерал несколько раз озабоченно посмотрел на часы, наконец поднялся и произнес решительно:

– Господа, я думаю, мы можем начать? Прошу вас в ту комнату.

Все охотно и любезно встали и, не прерывая разговора, толпились у дверей. Потом, когда генерал прошел вперед, стали проходить и другие. Рассаживались по местам, затихнув, поправляя воротнички и слегка покашливая. На многих лицах стояла рассеянная улыбка, как у людей, посторонних вопросом оторванных от интересных, веселых соображений и дела, близкого душе.

Комната была очень большая и высокая, еще холоднее и безжизненнее, чем гостиная. Белые кружевные шторы спускались прямыми складками, как погребальная одежда. Вы-

сокие лампы в углах отражались на особо блестящей поверхности пола и бросали унылый свет на белые стены, на легкие белые стулья с сиденьем из золотистого атласа и на большой закрытый рояль, казавшийся мертвым. На этом рояле странное и жалобное впечатление производила корзина свежих, остро пахнущих гиацинтов, неизвестно зачем принесенная, может быть, кем-то присланная генералу. Цветы робко подымали свои белые и лиловые, крепкие чашечки, а кругом все казалось еще пустыннее и холоднее.

В одном углу, у стола, где было особенно много кресел и диванчиков, обитых тем же золотым атласом, приютились дамы. Писательница с круглым лицом устроилась неподалеку от того места, где обыкновенно сидел сам генерал. Рыжеватая и худая барышня держала себя скромно: она была приглашена самим Звягиным и мало кого знала. Впрочем – она тоже оказывалась не чужда литературе. Она много переводила с испанского и немецкого, в редакциях ее любили. Жила она совершенно независимо. Одно время поговаривали, что недалеко ее свадьба со Звягиным, но потом дело как-то замялось. Звали рыжеватую барышню Юлия Никифоровна Бонч.

Для референта был приготовлен у стены, недалеко от дамского дивана, небольшой столик и свечи под колпачками. Звягин подошел ближе. Он ходил не быстро, даже немного вяло, задевая каблуками пол, что придавало походке особенную небрежность.

Он еще не успел сесть, как послышалось отдаленное, беспокойное журчанье электрического звонка и через минуту в комнату влетел запоздавший член общества. Он именно влетел, – такою стремительностью, несмотря на маститость, отличались все его движения. Впрочем, с первого взгляда можно было и не заметить преклонности его возраста: маленького роста, юркий, со вздернутым носом, с не то седыми, не то белокурыми волосами щетинкой, с такими же светлыми усиками, без бороды – он никак не производил впечатления солидности или почтенности.

Когда Павел Викторович Хамрат влетел в комнату – лица многих прояснились. Сверстники Павла Викторовича, маститые критики и адвокаты, похожи были, со своими длинными белыми бородами, на тяжеловесных, старинных бояр перед иностранным щеголем. Павел Викторович оправил свой смокинг, отер лицо, такое взволнованное и красное, как будто он вошел не во второй этаж, а по крайней мере в десятый, и стал здороваться с дамами.

Генерал Лукашевич видел, что Хамрат сейчас заговорит, и знал, что ему надо помешать заговорить. Это могло бы надолго задержать чтение, а генерал решил приступить к реферату.

Поэтому он заговорил сам:

– Господа, сообщение, которое нам сделает Лев Львович, относится, как известно, к одному чрезвычайно интересному английскому критику новейшего времени, а именно – к

Оскару Уайльду. Его сочинения, насколько я мог проследить, еще не подвергались серьезному разбору у нас, в России, хотя теории и взгляды этого писателя весьма своеобразны. Это обстоятельство придает особую значительность предстоящему сообщению Льва Львовича.

– Оскар Уайльд? – протянул, поднимая брови, рыжий и остроносый адвокат в очках, с лысинкой на темени и самодовольными глазами. – Оскар Уайльд? Не читал!

Остроносый адвокат считал себя особым знатоком литературы, потому что был женат на свояченице одного известного писателя, уже умершего. Со времени своей женитьбы он даже написал и издал сам какую-то книгу, которую дарил некоторым, нравящимся ему, знакомым. Суждения адвоката были всегда прямы и необыкновенно категоричны. Говоря, он воспламенялся от звука собственных слов, они ему нравились и убеждали его. В разговоре о новом назначении он принимал большое участие, горячился и еще не успел приготовиться к литературе, а потому слова генерала о реферате и имя Оскара Уайльда подействовали на него как неожиданность и раздражили его. Он легко раздражался, цвет лица у него был дурной и болезненный.

И, произнеся последнюю фразу о том, что он Оскара Уайльда не читал, он обвел присутствующих взором бледно-голубых глазок, как будто ища одобрения и спрашивая: «И кому это придет в голову читать Оскара Уайльда?»

Звягин взял первый лист из лежавшей на столе пачки и,

не глядя на него, заявил, что он должен «предпослать своему сообщению несколько вступительных слов».

Он начал неохотно, вяло, растягивая слова и часто, как бы с рассеянностью, скользил взором в сторону, где на камине тикали часы. Звягин ждал кого-то, кто не приезжал и без кого ему не хотелось ни говорить, ни читать. И когда опять торопливо задрожал электрический звонок в отдалении, Звягин сразу стал внимательнее, хотя слегка изменился в лице.

Послышался шелковый свист платья, вошла запоздавшая посетительница и, не здороваясь, чтобы не помешать, миновала дамский угол и села в отдалении, у рояля, около гиацинтов. В комнате чуть уловимо провеяло холодком, запахом только что выпавшего снега, свежестью морозного вечера.

Звягин продолжал:

– …Оставим в стороне жизнь Оскара Уайльда, – говорил он. – Мы судим теперь не человека. Перед нами писатель с талантом – и мне хотелось бы, не вдаваясь ни в какую моральную критику, где мнения могут разделиться, представить вам краткое изложение его главных взглядов на искусство и жизнь… Мне кажется, что имя этого несчастного человека останется в литературе. Эта небольшая книжка, – тут Звягин приподнял полураскрытую тощую желтенькую книжку без переплета, – уже совершила, так сказать, кругосветное путешествие. И я уверен, что дело здесь вовсе не в каких-нибудь случайных, внешних обстоятельствах. Мысли

Уайльда сами по себе способны к долгой жизни…

Вступление, после нескольких фраз в том же роде, было окончено. Стараясь не делать паузы, Звягин опустил глаза на листок и стал читать.

# II

Реферат действительно оказался недлинным. Странные слова приходилось говорить Звягину: жизнь следует за искусством, которое само ничему и никому не служит, потому что оно ничего, кроме себя, не выражает. Жизнь держит зеркало перед искусством – и ошибаются те, которые думают, что люди созданы природою – природа создана людьми. Коричневые туманы, висящие над улицами Лондона, созданы импрессионистами. Жизнь есть правда, искусство есть ложь. Но правда жизни груба и не нужна, ложь искусства восхищает, очаровывает. Она бесценна и высока. Она управляет миром, как его истинная царица.

Звягин дочитал последний лист. Прошло несколько секунд молчания. Слушатели, солидные люди, красноречивые адвокаты, только что с таким оживлением и тонкой проницательностью говорившие о новом, важном назначении, теперь онемели. Слова Звягина показались им и чуждыми, и оскорбительными, и нелепыми. Одни чувствовали себя возмущенными, другим было просто досадно, а более добродушным – смешно. Остроносый адвокат сразу рассвирепел и ждал только обычного приглашения к прениям.

И он заговорил первый. Слова его не имели особенной связи, иногда казались даже неожиданно неподходящими, но зато из каждого явствовало, что адвокат истинно возму-

щен. В некоторых фразах даже звенела личная обида, что его, солидного и важного человека, оторвали от солидных и важных дел для литературы, которая оказалась такой вопиющей, сумасшедшей нелепостью. Желая выражаться картинно и быть изысканным, он принудил себя коротко похвалить статью самого Звягина, начал даже какой-то образ, сравнение чего-то с пролетающими облаками на небе, особенно синем после грозы, но спутался, не кончил, перескочил через облака – и неудержимо обрушился на Оскара Уайльда. Гнев его был слишком кипуч, чтобы продолжаться, и, действительно, скоро все слова истощились, и между адвокатом и Оскаром Уайльдом порвались последние связующие нити.

– …Это возмутительно, – заключил адвокат свою речь, – это нелепо, это ненравственно, это неумно, это бледно, это посредственно…

Желая сказать все осудительные слова, он невольно сначала употребил все сильные и кончить пришлось менее эффектно. Хамрат давно ждал, когда адвокат кончит. Из красного, от ожидания и желания говорить, он сделался лиловым, как будто его мысли, невысказанные, давили его за горло.

И не успели замолкнуть последние звуки речи остроносого адвоката, как Павел Викторович уже говорил. Открылись как бы шлюзы. Вряд ли можно было остановить поток.

– Господа, я должен сказать прежде всего, что я решительно и положительно не согласен с уважаемым Львом Льво-

вичем, что такого человека, как Оскар Уайльд, можно взять только со стороны его литературного воззрения, не коснувшись в то же время его личности. Неполная картина! Мы должны изучить человека по косточкам, мы должны проследить отражение этой интереснейшей личности на всех его эстетических убеждениях и взглядах, и только после такого пристального изучения, особенно важного в наше смутное время, когда нас чуть не завоевала европейская мода на символизм и мистицизм… Господа, я извиняюсь, мы в дамском обществе, многих предметов я не имею возможности коснуться… И потому я скажу только несколько слов о последнем явлении – о символизме в связи с мистицизмом… Я занимался этим интересным признаком упадка на Западе, месте его рождения. Оставив в стороне Уайльда, я позволю себе повторить то, что уже неоднократно говорил и в некоторых моих произведениях, и в публичных лекциях…

Павел Викторович действительно забыл Уайльда, о котором, как оказалось, нельзя было говорить – и пустился в длинные, жаркие, даже пылающие рассуждения и осуждения на самые новые темы.

Павел Викторович считал себя обладателем особенно тонкого чутья, верил в почти чудесную силу своего обоняния и слышал запах фиалок уже в январе. Никакое, самое легкое, движение воды не могло ускользнуть от него. Больше, – каждый новый звук, даже без усилия с его стороны, летел к нему навстречу и соединялся с ним, как в раскрытой рот ласточ-

ки сами попадают комары и мухи, когда она стремительно несется в вечернем небе. Он смотрел на маститых, белобородых критиков, напоминавших древних, тяжеловесных бояр, и думал о том, как он далеко от них. Он думал, что он, не обремененный неудобными одеждами, легкий, как пушинка, спасшийся от седины слишком светлым цветом волос и по-европейски гладко выбритым подбородком, – мчится вместе с ветром и живет вместе с жизнью.

Увы! Как свежая штукатурка, упорно падая, обнажает заслуженные, обветшалые кирпичи – так сквозь каждое, самое горячее, умное слово Павла Викторовича виднелась седая, неподвижная старость, традиции отцов, шестидесятые, даже пятидесятые годы. И жар его – был не молодой, или вечно юный жар, а какой-то неожиданный, запоздавший, как иногда, к удивлению и досаде хозяйки, начинает шуметь и кипеть самовар, в котором уже нет воды, да и чаю больше никто не хочет. О седовласых литераторах часто говорили: они «держат знамя». Но и Павел Викторович держал знамя, и даже то же самое знамя – и разница была лишь в том, что он держал его немного на другой лад, и главное, сам был далек от мысли о правде.

Глядя на его багровое, взволнованное лицо, ослепительно белую манишку в широком вырезе черного жилета, слушая его неистово горячую речь, Звягин все меньше и меньше чувствовал желание возражать. Да нельзя было возражать даже физически: в речь Павла Викторовича никто не успел

бы вставить слова, и голосом таким, чтобы перекричать его, никто не обладал. Оставалось одно – ждать.

И Звягин ждал, опустив глаза на листы своей рукописи. Он ни разу не посмотрел в сторону рояля, где, около гиацинтов, сидела поздно пришедшая гостья в черном платье.

– Мне очень жаль, – начал Звягин своим негромким голосом, – что Павел Викторович счет необходимым, касаясь моего реферата, касаться вещей, обсуждение которых теперь неудобно. Благодаря этому интересное сообщение Павла Викторовича отдалило нас от предмета. Мы узнали взгляды Павла Викторовича на символизм и некоторые сродные ему течения – не могу не оговориться, что я со многим не согласен, – но, к сожалению, оратор не счел возможным упомянуть об эстетических взглядах Оскара Уайльда, об отношении его к искусству… Мне кажется, в этом направлении можно говорить совершенно свободно… Я старался осветить с наибольшей яркостью именно эту сторону оригинального дарования Уайльда. Как чистый эстетик, как человек, выше всего ставящий искусство – он вполне сын нашего времени, он нов и смел, именно смелость его, почти гениальных, афоризмов побеждает нас – и я надеюсь, против этого не будут возражать. Уайльд – наиболее яркий выразитель наших же идей, его мысли – как бы эссенция мыслей, чувств и течений последнего времени. Мое отношение к этому блестящему писателю достаточно ясно. Еще раз выражаю сожаление, что Павел Викторович направил свою речь в сторону и тем

лишил меня возможности возразить по существу, защитить мои главные положения.

Звягин произнес эту речь с достоинством победителя. Он уже видел, что Оскар Уайльд либо произведет такой невинный переполох, как в голове остроносого адвоката, который был не вреден, либо возражать вовсе не будут – и таким образом последнее слово, как-никак, останется за ним. Он щеголял своей приверженностью к Уайльду, он со вкусом и удовольствием произносил самые беззастенчивые афоризмы Уайльда, действительно не заботясь о седых бородах людей, привыкших «держать знамя». Они молчали – тем лучше. Он не испугался бы их негодования, громко выраженного. И он был доволен собой, своей смелостью и своим рефератом, как будто он знал наверное, что есть в зале человек, которому это должно понравиться и которому единственно он, Звягин, хотел понравиться.

Все дамы были в восторге. Конечно, это был не более как обычный дамский восторг перед литературой: точно щебечущие птички, когда они садятся на ветку, чуть-чуть, на одну маленькую минуточку, едва касаясь дерева нежными лапками – и сейчас же весело улетают прочь; конечно, тут была некоторая примесь недоумения; однако угол заволновался, головы сблизились, послышалось шептанье, которое еще пронзительнее выделило свистящее «с» у круглолицей писательницы. Громко дамам говорить не дозволялось. Генерал Лукашевич, как председатель, не мог допустить дамских

возражений, он в них не был уверен. В шепоте не принимали участия только Юлия Никифоровна, выражение лица которой было особенно удовлетворенно и томно, – и дама у рояля: она сидела слишком далеко.

Генерал уже хотел подать знак окончания прений, как вдруг из угла, противоположного дамскому, послышался слабый, но настойчивый голос:

– Прошу позволения сказать несколько слов референту…

– Кто это? – поспешным шепотом проговорила румяная писательница, наклоняясь к m-lle Бонч.

– Ах, Боже мой… Не знаю… Кто это? Да позвольте: это профессор один московский… Кириллов, кажется… Однако! Он здесь случайно – и возражает.

Кириллов был тот самый бледный, сутуловатый господин с длинными, бесцветными волосами, который с самого начала вечера не произнес ни слова. Его никто не замечал, многие его не знали и теперь удивились, когда он встал с своего места и подошел ближе.

– Я хотел сделать маленькое возражение, если это будет уместно, – начал Кириллов. Его голос был слаб, но внятен. Видно, что говорить он привык. Правой рукой он делал жесты во время речи, немного жесткие и неприятные.

– Я позволю себе заметить референту, – продолжал Кириллов, – что он, говоря об Уайльде, называет его, если не ошибаюсь, самым ярким представителем последних настроений, как бы выразителем новых движений. Насколько я мог

заметить, симпатии референта вполне принадлежат важнейшим течениям – символизму и мистицизму. О них, кстати, тут уже было говорено, я не вполне согласен с референтом, что возражение господина Хамрата отдалило нас от предмета. Каким образом, спрошу я референта, может Оскар Уайльд быть полным и смелым выразителем этих «новейших» настроений, не чуждых самому референту, если Оскар Уайльд прежде всего сторонник чисто эстетического взгляда на искусство с совершенным, даже резким отрицанием всякого символизма?

Кириллов остановился, как бы желая вызвать Звягина на ответ, но, не слыша ответа, продолжал:

– Таков мой упрек референту, который не обратил должного внимания на эту важную, почти главную черту в мировоззрениях критика и, может быть, отдал слишком много симпатий человеку, с ним не вполне солидарному и одержавшему такую победу, вероятно, просто смелостью и дерзостью (которая, замечу, нашла много подражателей) своих запутанных и легковесных афоризмов. Теперь, если позволите, несколько слов о самом Уайльде и его эстетической критике, не допускающей символизма. Я должен говорить кратко и потому мысль мою постараюсь облечь в самую простую, примитивную форму. Оскар Уайльд признает искусство для искусства. Жизнь, природа подражает искусству. Все заключено в искусстве. Жизнь идет за искусством, искусство ничего не берет у жизни – но откуда же берет свое содержание,

свой предмет искусство, если оно не может взять изнутри, не может потому, что за ним нет ничего, символов нет, тайны нет, и никаких сцеплений, и никакого внутреннего смысла. Искусство Оскара Уайльда – беспредметное искусство, само себя отрицающее искусство… Ведь вы с этим не согласны, господин Звягин? Какой же стороне дарования этого критика принадлежат ваши симпатии?

Звягин давно пытался возражать. В голосе Кириллова, сделавшемся громче, была чуть уловимая насмешливая нотка. Кончив свое краткое возражение, он отошел к стороне и сел, как будто желая показать, что он больше говорить не станет и не надеется услышать что-либо такое, на что стоит отвечать. Речь его произвела большое смущение. Юлия Никифоровна покраснела, на лбу у нее выступили капельки пота. Она, казалось, всем существом своим хотела защитить Звягина – и принуждена была молчать. Павел Викторович готов был пуститься опять в длинные разговоры, но следовало дать говорить референту.

Звягин говорил очень долго, очень спутанно и сложно. Он защищал и себя, и Оскара Уайльда, и символизм, и себя вместе с символизмом, говорил о необходимости эстетической критики, и все-таки как-то выходило, что он соединяет в своем восхищении Оскара Уайльда с символизмом – или, вернее, ничего не выходило. Достойный тон победителя исчез, Звягин сознавал это и оттого еще больше путался, срывался, думая в одно и то же время и о возражении, и о челове-

ке, которому он хотел нравиться и перед которым ему было стыдно. Это злобный стыд и страх застилал ему глаза, как туман – и он говорил все хуже, путался все больше, но сам понимал, что непременно нашел бы нужные слова, если б не волновался.

Наконец он умолк, надеясь, что Кириллов ответит ему и даст пищу для заключения. Но Кириллов молчал, как будто даже не слушал бессвязной речи Звягина. Прошла минута неловкой тишины. Тогда председатель счел нужным вмешаться и положить конец прениям, которые сделались неприятными. С привычной ловкостью генерал произнес несколько слов, в которые никто не вникал и которые, однако, имели примиряющие звуки. Несколько любезностей по адресу референта, столько же по адресу Павла Викторовича и Кириллова, коротенькое резюме, имя Оскара Уайльда – и заключение:

– …А теперь, господа, я думаю, мы можем…

Он встал, за ним поднялись все, шумно отодвигая стулья, радуясь, что можно ходить и громко говорить. Дамы шелестели платьями и щебетали. Каждый стремился поймать на дороге того, к кому имел дело, и завести частный разговор. Устроились a parte[1], в которых не упоминался больше Оскар Уайльд. Дамы, впрочем, подошли к Звягину, который с рассеянным и расстроенным лицом собирал у стола листы своей рукописи. Полусгоревшие, короткие свечи освещали снизу

[1] по группам *(фр.)*.

его хмурый лоб в морщинах, неприятно сжатые губы и темную бородку. Он казался и старым, и злым, и жалким. Тем менее гармонировали с этим лицом глубоко сидящие глаза, в которых была жизнь и вечное беспокойство.

Звягин нетерпеливо отвечал на комплименты румяной писательницы. Он смотрел в глубь комнаты, где с генералом тихо разговаривала высокая дама, надевая черные перчатки.

Она застегнула перчатку, подала генералу руку и двинулась к выходу. Когда она поравнялась со Звягиным, тот сделал движение, как бы намереваясь ее остановить или сказать что-нибудь. Но она слегка, невольно, отстранила складки платья, точно боясь, что заденет Звягина, и прошла мимо, кивнув ему головой.

И когда Звягин, минуту спустя, шел по лестнице в сопровождении Юлии Никифоровны, он видел только белый морозный пар, ворвавшийся в широко распахнутую швейцаром дверь, черную головку над широкой опушью темного меха, слышал крик: «Подавай!» – и яркий топот лошадей. Дверь захлопнулась. По всей лестнице теперь слышались почти веселые голоса уходящих гостей. Кириллов давно исчез незаметно, он почти никого не знал. Маститые адвокаты, причастные и непричастные к литературе, педагоги, банковские и думские деятели, Ласткин – молодой поэт, служащий в министерстве, – почти все члены достойного общества соединились вместе и вместе вышли на улицу. Морозный, белый, колючий и бодрящий воздух охватил их. Многие по-

ежились и крякнули. Этот свежий холод окончательно привел их в себя, возвратил к их собственным делам, отрезвил от литературы, которая сейчас же и без малейшего усилия спала с них, как чужая одежда. Надо было прощаться, все остановились на тротуаре. В эту минуту прежний разговор о новом назначении вспыхнул с особым интересом, общество не сразу разошлось. И спорящие голоса еще долго долетали до Звягина, когда он в глубоком молчании удалялся от них навстречу огонькам фонарей, которые белыми и неясными точками дрожали в туманном воздухе.

# III

Валентина Сергеевна Муратова сидела в своем кабинете, у стола, и внимательно читала, опершись головой на руку. Кругом было очень тихо, как во всех больших квартирах, где живут одинокие люди, без детей и даже без лишней прислуги. В углу, в камине, широким и жарким пламенем, безмолвно колеблясь, горели черные куски каменного угля. Валентина Сергеевна не любила треска и тления дров.

Комната была высокая, вся темная, с тяжелыми и длинными портьерами. Она казалась бы строгой, если бы не впечатление мягкости, даже нежности, пушистый ковер на полу, низкие стулья и кресла. Роскоши не было: даже особенной заботливости не замечалось. Единственно хороши были цветы: широкие листья, темная зелень, пальмы и редкие растения с длинными ветвями – все обличало привязанность хозяйки к этим немым существам. И воздух был, несмотря на пламя камина, слегка оранжерейный, сыроватый и теплый.

Валентина Сергеевна, после смерти мужа, довольно известного адвоката, жила одна. На той же лестнице, дверь в дверь, жил ее брат, человек больной, очень богатый и одинокий, теперь вполне погрузившийся в кабинетные занятия. Это был единственный родственник Валентины Сергеевны, с ним она жила до замужества, и о редкой дружбе их говорили.

Брат и сестра не видались иногда по неделе. Каждый вел свою самостоятельную жизнь. Валентина даже редко рассказывала ему те или другие факты. Но между ними была иная откровенность, понимание многого почти без слов.

Валентине Сергеевне случалось целые долгие вечера проводить одной. Она говорила, что цветы ей нужны, чтобы переносить одиночество. Они дышали и жили в комнате, и ей не было страшно.

Сегодня на дворе был ветреный, серый день, чувствовалась дурная оттепель. Валентина не хотела выехать, ни даже выйти гулять. Она чувствовала себя не то утомленной, не то чем-то недовольной. Вчерашнее собрание у генерала Лукашевича, Оскар Уайльд, Звягин, даже возражение Кириллова – все почему-то оставило неприятный след в душе.

Ноябрьский день потух. В кабинете спустили портьеры, на столе зажгли лампу под широким желтым абажуром. Валентина села к столу и принялась за только что полученные французские книжки. Она не велела никого принимать и потому была искренно изумлена, когда, вслед за громким и длинным электрическим звонком, в соседней комнате послышались шаги гостя.

Валентина, не приподнимая наклоненной головы, сделала движение и взглянула на дверь.

У порога стоял Звягин.

В самой ранней молодости Валентина не была очень красива. К ее лицу не шли свежие, яркие краски, выражение

детскости и наивности. Теперь, приближаясь к тридцати годам (ей минуло двадцать восемь), она вся сделалась значительнее, грациознее, черты лица стали тоньше, нежнее, около глаз легли тени, которые сделали взор серьезнее, глубже, но и живее. Глаза были очень большие, даже слишком большие, делавшие все лицо неправильным, широким вверху при маленьком, узком подбородке и таком же маленьком рте с неяркими, розовыми губами. Брови над этими светло-карими, почти золотыми, глазами, поднимались тонким и ровным полукругом, длинные, совсем черные, как и волосы, которые были волнисты и нежны. Видно было, что они завиваются сами, потому что короткие пряди спереди, закручиваясь мягко и упорно, прилегали плотно к слегка сжатым вискам. Небольшой нос, цвет кожи бледный, не то смугловатый, не то желтоватый, без румянца, широкие плечи при особенно тонкой талии, руки, большие и красивые, – все делало Валентину заметной. Она казалась простодушной, когда сидела не двигаясь, слушала что-нибудь, открыв глаза и не переводя взгляда. Но стоило ей засмеяться, даже улыбнуться, золотые глаза суживались, она делалась непонятной, непроницаемой, женственно-лживой. Все неверное и неясное, тайное – имеет над нами силу. Конечно, женщина сама не знает тайны, которую кажется, что она скрывает. Но есть призрак, ощущение тайны, и потому женственность так привлекательна. Лучи лампы падали прямо на руку Валентины, слегка обнаженную полукороткими рукавами, на тем-

ную, склоненную голову. Прежде чем она обернулась, Звягин увидал ее профиль с опущенными ресницами.

Когда мысли Звягина ему особенно нравились, казались красивыми и замечательными – он обращался с ними заботливо, нежно, со старанием произнося в уме каждое слово. Так именно он подумал теперь, глядя на Валентину:

«Никогда, ни в одном лице, я не встречал подобного соединения жестокости и печали. К чему приведет это странное слияние?»

– Это вы? – сказала Валентина. – Я вас не ждала.

В голосе ее было что-то неуловимое, но нехорошее, может быть, то чувство, которое накануне, у Лукашевича, заставило ее отстранить складки платья, когда она проходила мимо Звягина.

Звягин приблизился, торопливо и мелко ступая, и протянул руку.

– Да, вы не ждали. Простите меня, Валентина Сергеевна. Но нам нужно поговорить.

Валентина пожала плечами.

– О чем говорить? Кажется, между нами всегда все было так ясно…

Звягин сел на кресло сбоку, у стола. Камин был теперь против него. Громадное, безмолвное пламя, дрожа и прыгая, бросало темно-красные отсветы на лицо Звягина. Странные тени, от колебаний пламени, набегали и сбегали с этого лица, которое, казалось, меняло свое выражение и с каждой пере-

меной делалось взволнованнее, злее, но и значительнее.

– Нет, не все было ясно между нами, Валентина Сергеевна, – проговорил Звягин. – Но теперь я оставляю прошлое, я хочу знать все, я не могу не знать, и вы сжалитесь надо мною и скажете мне, что происходит в наших отношениях последнее время? Вы не будете отрицать, что они изменились.

– Вспомните, – прервала Валентина, чуть-чуть улыбнувшись, – что мы всегда не ладили и больше времени тратили на ссоры, чем на дружбу…

– Да, ссоры были, но никогда такого холода…

– Что же вы от меня хотите, Лев Львович? Вы знаете – я вас не люблю. Ссорились мы всегда, а что в отношениях есть перемена – то ведь это понятно, я сама все время меняюсь, расту, живу.

– А я? Что же будет со мной? – почти вскрикнул Звягин. Голос его, повышаясь, делался неприятным, визгливым. – Зачем столько лет, столько времени… Вы говорите, что в наших отношениях все ясно. Не было между нами полной ясности, не может ее быть с вами, Валентина Сергеевна. О, эти ваши вечные изменения!.. Ваши противоречия дают мне такой ужас, когда я их вижу…

Валентина остановила Звягина движением руки, встала и прошлась по комнате. Длинный бархатный шлейф ее розового платья проволокся по ковру. Валентина была немного взволнована, но очень владела собой, и через секунду ответила спокойным, даже веселым голосом:

– Удивляюсь я вам, Лев Львович. Вы не хотите понять самых простых вещей. Если мы начнем считаться, то и у вас, несмотря на святость вашей великой любви ко мне, найдется немало грешков неискренности и других против меня же. Но считаться я не хочу – сохрани Боже! Ведь мы оба свободны, и прежде и теперь, в нашей дружбе. Вы знаете меня столько лет, знали меня и при жизни мужа. Я тогда была еще не человек, совсем девочка. И неужели я должна застыть в одном состоянии – и не сметь меняться? Я не виновата, что у меня открываются глаза каждый день, каждый час. Я иду, я двигаюсь. Я меняюсь, потому что это – дорога. Вы говорите, что я стала холоднее к вам и не повторяю прежних прекрасных слов. Ну как мне быть, Лев Львович, если я теперь искренно думаю, что мы не товарищи, что мы все отдаляемся, что ссоры наши даже не чаще, а как-то преснее, потому что у нас мало общего. Вы все тот же, совершенно такой же, как десять лет назад. Таковы же ваши занятия, ваши мысли до усталости похожи на прежние, так же вы сердитесь, так же любите – и никогда не изменяетесь… разве только изменяете, и эти ваши измены все в одном кругу… Прежде мы больше подходили друг к другу – теперь меньше. Поймите, ну как же мне быть? Ведь я не виновата…

– Вы любите кого-нибудь? – прошептал Звягин неожиданно.

Валентина опять пожала плечами.

– Как вам не скучно, Лев Львович? Люблю… Люблю дру-

гого… Бросьте вы, пожалуйста, вздор, я с вами говорю серьезно и просто. Кого я там люблю? Никого не люблю, а если б любила, то не в том дело: теперь я касаюсь только наших с вами отношений. Вы говорите: обман, измены… Я не знаю… Но движение – в изменениях. В ошибках – и в неожиданных моментах, когда понимаешь истину. Простите, если было то, что вы называете обманом. Но я ни в чем не раскаиваюсь – и не могу поклясться, что никогда не стану лгать…

Она стояла прямо перед Звягиным, который тоже поднялся и, бледный, глядел в лицо Валентины. Свет лампы, сквозь желтый шелк абажура, делал ее глаза ярче и золотистее. С последним словом она улыбнулась – и опять все лицо приняло выражение неверности и тайны, и той неисцелимой и прекрасной туманности, которая может привлекать сильнее правды. И Звягин в первый раз почувствовал, что она, Валентина, эта девочка, которую он так давно любил, к капризам которой почти привык и чью дружбу считал неотъемлемой собственностью, – теперь действительно отдаляется от него, отходит, что даже эта неровная дружба рвется. Он привык жить около нее, давно привык страдать от неразделенной любви и не хотел нового.

– Знаете, – говорила между тем Валентина, – я не могу вам объяснить, чего я хочу, куда я иду – я только почувствовала, что мне не нужно больше ничьей любви. Вызывать любовь – это что-то созидать. А я разрушать люблю… Впрочем – это непонятно, да и сама я еще так далека от моей правды… Вы

не сердитесь на меня. Что ж делать!

Звягин смотрел в лицо Валентины – и все яснее понимал, что она ускользает, уходит из его жизни. Страх за себя, за то, что будет с ним без нее, овладел душой. И вместе с этим постыдным страхом все неугаданное, недоступное в ее лице поднимало в нем слепую ярость, острую злобу, которую он объяснял себе возмущением против ее дерзости, против лживости ее глаз, ее дружбы, против непобедимой верности всему, чему он желал ее видеть верной. Он искал убежища от обиды у справедливости, у той самой обычной справедливости, в которую он не верил и законов которой не признавал для себя.

– Вы отталкиваете меня, – проговорил он почти шепотом. – Помните, это не прощается. Я слишком любил… Зная ваши изменения – хочу верить, что и этому вы еще измените, и мы…

– О, назад я не вернусь…

Она не договорила. У дверей раздалось шарканье туфель и сухой стук дерева, вероятно костыля, о пол, прикрытый ковром.

– Брат идет, – сказала Валентина.

# IV

У портьеры показалась высокая, согнутая фигура Ивана Сергеевича Стоярского. Больные ноги были обуты в теплые туфли. Синий кафтанчик на лисьем меху облекал его худое тело. Узкое лицо с очень прямыми чертами, небольшие, глубоко сидящие глаза под пушистыми бровями, светло-белокурая, недлинная борода и волосы темнее – все делало его почти красивым, несмотря на сорок лет и резко впалые, бледные с желтизною, щеки. Иван Сергеевич был давно болен. Тело его, казалось, давно умерло, высохло, почти исчезло. А из глаз смотрела целая, вся живая душа, и эти глаза на неподвижном лице производили какое-то чудесное и жуткое впечатление.

Иван Сергеевич вошел молча – подал руку Звягину и сейчас же опустился в кресло у стола, под стрельчатым и круглым листом финиковой пальмы.

– Я пришел на минутку, – произнес он голосом тихим и, как у всех больных, немного отрывистым. – Ты едешь сегодня в театр, Лета? Ты мне давно толковала, что играет какая-то Зыбина, которую ты хочешь посмотреть…

Валентина досадливо вспыхнула.

– Нет, – сказала она, – мне нездоровится. Я не хочу никуда.

Они помолчали.

– А читать на будущей неделе у графов Неретьковых будешь? – продолжал Иван Сергеевич.

– На благотворительном вечере? Не знаю. Очень просят… Я читать люблю, в особенности стихи…

– И ты хорошо читаешь. Из тебя настоящая актриса могла бы выйти.

– Да… поздно только, – прибавила она с насильственным смехом. – Да и не хочется. Лев Львович, могли бы вы меня вообразить актрисой?

– Отчего же… – процедил Звягин, глядя в угол. Бледность его не проходила.

Иван Сергеевич, опершись на костыль, внимательно смотрел на сестру и на Звягина.

– Не читай на вечере, откажись, – выговорил он вдруг.

– Почему? Это неловко… Все знают, что я читаю.

– Как хочешь. Только будешь потом раскаиваться, уж я предчувствую. Эти благотворительные вечера в высшем обществе… Да как хочешь.

Опять наступило неловкое молчание. Звягин ждал, когда брат уйдет, он чувствовал свое положение глупым, серым, сцену законченной неумно, даже вовсе не законченной. Ему казалось невозможным проститься и уйти и никогда больше не видеть ее, снести оскорбительную небрежность, с которой она теперь толкнула его вон. Ему казалось, что еще можно что-то выяснить, чем-то помочь. Обида, которую он внутренно называл справедливым негодованием, ела его душу.

Как, и это все? Хорошие слова исчезли, будто не существовали. Он уйдет и будет страдать, а она останется без боли, и сделает то же с другим, если захочет.

Валентина была очень красива, с немного сжатыми, ровными бровями, с тенями опущенных ресниц и легким выражением нетерпения в лице. Звягину казалось, что он не любит ее больше, что она отвратительна ему в своей неуловимой и беззаботной неискренности. Любовь к ней вся переродилась в ярость и боль за себя. Ему хотелось сжать пальцами это тонкое горло под розовым бархатом, сжать еще сильнее, чтобы ей стало нестерпимо, чтобы она поняла, как можно страдать. Это было бы только справедливо.

– Я посижу с тобой, если ты никуда не собираешься, – сказал Иван Сергеевич.

Намек был ясен. Звягин понял, что брат не уйдет – и подошел прощаться.

Валентине стало жалко Звягина. Она сделала несколько шагов и у двери произнесла тихо, ища слов и опять не находя их:

– Не сердитесь, Лев Львович, я не виновата. Я ничего не могу…

Она хотела снова взять его за руку, но тут жалость уступила место ее всегдашнему, не сильному, но непреодолимому чувству физической неприязни к этому человеку. Она не любила прикосновения его слишком мягкой, маленькой, влажной руки. Несмотря на всю их дружбу, на его любовь, кото-

рая одно время давала ей удовольствие – она всегда избегала смотреть на выпуклый лоб под черными, гладкими волосами, на яркие губы и чуть блестящую кожу лица – он весь ей не нравился. И когда внутренняя связь исчезла – это чувство выступило сильнее и непобедимее.

– Я считаю нашу дружбу разорванной, – сказал Звягин холодно. – Мне даже кажется – вы будете рады это узнать – что я вас больше не люблю…

Портьера резко колыхнулась, он вышел. Валентина прислушалась – и скоро до ее уха долетел тупой и далекий стук наружной двери.

– Я не знал, что Звягин еще бывает у тебя, – сказал Иван Сергеевич, поднимая глаза.

– О, так редко! – со внезапной раздражительностью проговорила Валентина. – И каждое наше свидание теперь оставляет безнадежную тяжесть на душе. Я устала, я не верю в его любовь и вижу, что он мне не друг. Может быть, я во многом ошибаюсь и не понимаю его, – но это внутреннее чувство ясно и бесспорно: он мне не друг.

– Я часто думал об этом, – возразил Иван Сергеевич. – Мне всегда, даже когда ты слепо верила в его привязанность, казалось, что он – тебе не друг. И весь он не по тебе, поверь, Лета. Ты мне говорила как-то, что он сложный – слабый и сильный, нежный и жестокий. Это слова, друг мой. Он хочет быть и слабым, и сильным – и потому ни слабый, ни сильный, как ни нежный, ни жестокий. В этих отрицаниях его

несчастье. И не друг он тебе, потому что не может любить тебя одну, а себя любит вместе с тобой, и две эти любви борются и ослабляют одна другую. Но если и победит одна, то не любовь к тебе. Оставь его, Лета: у вас разные пути.

Валентина молчала, положив голову на руку, и смотрела вниз, на сукно стола. Иван Сергеевич тоже впал в задумчивость.

И долго сидели так брат и сестра. Кругом было очень тихо. Только порою мягко вспыхивала искра в потухшем камине, под кучкою серого пепла.

# V

По Невскому двигалась праздная, воскресная толпа. Зима стала рано, с первых чисел ноября, и снег держался, несмотря на два или три теплых дня, которые грозили распутицей.

Но сегодня опять слегка заморозило, даже выглянуло бледное, несмелое солнце, точно всегда предзакатное, бросало желтоватые лучи в просветы между домами, у Аничкова моста, по Садовой у Гостиного, около Думы, – и печальным светом обливало толпу, ленивую, уже успевшую привыкнуть к вечерним огням.

Даже и эти унылые лучи солнца были предательскими для лиц, еще свежих при лампах и электричестве. И дамы кутались в шубы, и отворачивались от красного, сверкающего шара, который ослеплял их.

Не было возможности двигаться быстрее плотной, монотонной и уродливой толпы. Говора почти не слышалось. Гуляли молча – и молчание придавало что-то зловещее этой темной массе народа.

Ходили студенты кучками, в холодных пальто, с красными носами. К дамам относились равнодушно, зная, что если хорошо одета и свежа, и гуляет не с кавалером, а с другой дамой – то наверно говорит «оттеда», «с трем рублям» и «пообедамши», а остальные – «учительницы», и шубки или кофточки на них такие, что смотреть стыдно.

У Пассажа, по направлению к Литейной, двигалась медленно целая кучка юнкеров. Их было человек шесть или пять, все почти одного роста и очень похожие друг на друга, с розовыми, как будто удивленными, лицами и неподвижными глазами. Один только, очень маленький, казался живее, смелее, вертлявее и, пожалуй, умнее.

Сразу было видно, что эти юнкера – не простые юнкера с молодцеватой походкой, со звенящими шпорами и понятным желанием лихо закрутить рождающийся ус и вообще показать так или иначе свою удаль. Они шли с перевалкой, некоторые даже слегка горбились, и когда мимо проходил офицер, они отдавали честь как бы нехотя, без всякого вкуса.

Это были юнкера-декаденты, а сделались они декадентами следующим образом.

Известно, что в училищах практикуется обычай иметь переписанные в тетрадку стихи, порою нецензурные, порою просто не совсем понятные и только имеющие славу нецензурных. Один из юнкеров, Ховецкий, был особенно пристрастен к списыванию стихов. Он списывал, собирал и увлекся до того, что сам к чужим стал прибавлять строчки своего сочинения, потом целые куплеты и, наконец, прямо начал писать свое. Один раз Ховецкий пошел в отпуск к товарищу, студенту, где его заставили читать свои произведения.

Ховецкий вернулся в училище задумчивый и рассеянный.

– Знаете, господа, – отвечал он на расспросы товарищей, – вот вам не нравились мои стихи, вы говорили, что самого-то

перцу мало и все вообще так, что ничего не разберешь, а между тем оказывается, что эти стихи самые декадентные и символические.

– Как символические?

– Да самые новые, в самом модном духе. Такие стихи, говорят, теперь гораздо моднее писать, чем под мундир розовый муар подкладывать, как Черепенников делает. Самый шик теперь – декадентство и символизм.

– Ну, это уж давно что-то слышно… Кто тебе говорил?..

– Были там студенты, литератор, два поэта. Спрашивали, кричали на меня: вы не читали такого-то? Нет. И не слыхивал. А такого-то? Не думал. Удивительно! Поразительно! Самостоятельное проявление… И дали мне книжечку – перевод с французского. Действительно, там тоже непонятно и есть вроде моего.

Товарищи заинтересовались. Бросились на книжку и быстро ее усвоили. Многие просили Ховецкого свести их к тому студенту, что и было исполнено. Вскоре около Ховецкого образовалась целая группа декадентов, которые не только писали стихи, но и старались держаться взглядов и привычек, свойственных декадентам.

Маленький живой юнкер Чирко необычайно скоро понял все декадентские приемы и перегнал неповоротливых товарищей. Он проявлял большую энергию в смысле расширения деятельности. Он доказал необходимость познакомиться с журналистами, литераторами, даже адвокатами – и дру-

зья стали делать иногда набеги на жилища людей с известными фамилиями. Если набег был удачен, они читали свои стихи и старались держаться непринужденно. У одного профессора, который принял их, впрочем, весьма холодно, они познакомились со Звягиным.

Теперь, увидав его вдали, в толпе, Ховецкий, немного мямля и заикаясь, произнес:

– А вон Звягин идет…

– Где, где Звягин? – хлопотливо заболтал маленький Чирко. – Да, Звягин. Господа, подойдемте. Со Звягиным нам необходимо поддерживать сношения. Сам по себе он не важен, но у него есть знакомства.

– А с кем это он разговаривает?

– В высокой шапке грешником и в шубе? Не знаю. По шубе судя – москвич…

– Да их трое… Нет, третий уходит. Подойдемте, господа, к Звягину. Ну что там стесняться!

И кучка юнкеров смело двинулась вперед.

– Лев Львович! – решительно окликнул его Чирко. Звягин обернулся. Вид у него был веселый, глаза блестели, мороз вызвал румянец на всегда бледное, смуглое лицо.

– А, это вы! Мое почтение. Геннадий Васильевич, позвольте мне познакомить вас с молодыми поэтами.

– Кириллов, – произнес господин в шубе, приподнимая свою остроконечную шапку над прямыми, очень белокурыми, волосами и с некоторым изумлением подавая по очереди

руку всем юнкерам.

Его светло-голубые глаза смотрели слегка застенчиво. Бледное, узкое лицо, обрамленное тоже белокурой, не вьющейся, бородкой, с негустыми усами около розового рта – казалось немного болезненным.

– Я очень, очень рад, что, благодаря нашему общему приятелю, познакомился с вами, – продолжал Звягин, обращаясь снова к Кириллову. – Тогда, после моего злосчастного реферата, вы слишком быстро исчезли. Дело, о котором мы сейчас толковали, очень интересует меня. Я почти уверен, что достану вам нужные справки. Не угодно ли зайти сейчас ко мне? Кстати, вы мне запишете адрес того московского профессора, о котором говорили. Прошу вас, зайдемте! Господа, – обратился он к безмолвным юнкерам, которые без определенных мыслей следили за его речью. – Не зайдете ли и вы? Вы нам прочтете что-нибудь свое… Геннадий Васильевич, я уверен, прослушает вас с удовольствием. Он скоро уезжает назад, в Москву – вряд ли еще представится случай-Звягин говорил весело и звонко. К своему новому знакомому, Кириллову, он, казалось, чувствовал особое расположение, даже влечение. Он пошел с ним рядом, юнкера серою, немою толпой поплелись сзади. Они именно плелись, стараясь твердое шаганье, которому обучали их в училище, заменить походкой развалистой и припадающей.

Кириллов, в своем распахнутом еноте, высокий, слегка покачивающийся на ходу, чуть-чуть ленивый, казался еще

выше рядом с широкой и плотной фигурой Звягина, подвижного, крепкого, закутанного в черную шубу некрасивого покроя, с громадным воротником.

Квартира Звягина оказалась недалеко, на Николаевской улице, во дворе.

Комнаты были довольно большие, пустоватые, с белыми обоями. На столе валялись бумаги, книги, письма. Книг, впрочем, было не особенно много. Громадное, глубокое кресло, обитое ярко-зеленым трипом, гравюры на стенах, старенькая фисгармония в углу – все придавало комнате своеобразный, но неуютный характер. Застарелого и затхлого беспорядка, говорящего об отсутствии женщины и одиночестве – не замечалось. Звягину были далеко не чужды эстетические, порою женственно-капризные склонности: несколько вычурных флаконов с духами, пушистый белый коврик у кресла, затейливый и дорогой альбом с заграничными фотографиями.

Но квартира Звягина имела досадное свойство, противное эстетике. Кухня была устроена таким образом, что комнаты квартиры, мебель, вещи, одежда, порою подушки на постели – все принимало в себя тупой и назойливей запах масляного чада. Ни форточки, ни куренья не помогали. Впрочем, всякий входящий через минуту привыкал к запаху и уже не замечал его, как не замечал сам Звягин. Он даже ласкал себя мыслью, что запаха, в сущности, более нет. Звягин любил думать то, что ему было приятно – и позволял себе

это.

Кириллов снял шубу в передней, не обратив внимания на кухонный чад – подобные вещи казались ему пустяками, – и в сером кашне, высокий и неуклюжий, вошел в комнату. Он тотчас же сел на стул у окна и молча глядел на юнкеров.

Юнкера освободились от шинелей и сразу наполнили комнату дыханьем шести здоровых молодцов, топотом и запахом не то скипидара, не то какого-то жгучего масла и кожи – от высоких форменных сапог.

Они молчали и толкались в замешательстве. Но юркий Чирко, легкий и маленький, как обезьяна, взобрался на письменный стол и, сидя на нем, болтал свешенными ногами.

Звягин предложил чаю, от которого все отказались. Кириллову очень хотелось разговориться с загадочными юнкерами, но он не знал, с чего начать. Тем более что рассевшиеся полукругом молодые люди казались ничуть не расположенными к разговору. На розовых лицах, очень схожих, было одинаковое выражение некоторого испуга, а более тупости и сонливости.

– Вы пишете стихи? – обратился, наконец, Кириллов к маленькому Чирко, который был все-таки живее других.

– Да, стихи, – бойко ответил Чирко. – Но, знаете, в новом духе… Вам известны некоторые французские сочинения новых… Так вот мы в этом направлении. Мы вообще за новые веяния.

– Вот как! – с интересом проговорил Кириллов. – И что

же, это очень распространено среди военной молодежи?

– Нет, знаете, мало. Только нас шестеро в училище. Конечно, это все расширится… А пока вот мы. Я даже, собственно, прозой пишу, но тоже в этом стиле, конечно, а вот Ховецкий стихами.

Ховецкий мрачно взглянул на товарища и покраснел. Он, очевидно, по натуре был скромен, и декадентская развязность в обществе ему редко удавалась.

– А вы московский профессор? – продолжал Чирко бойко. Он закурил папиросу, за ним, как по команде, все другие закурили, и комната наполнилась серыми волнами.

– Да, я профессор.

– Вы что же, либерал или эстет? Кириллов улыбнулся.

– И то и другое… – ответил он уклончиво. – А вот мне очень бы интересно было прослушать стихотворения господина Ховецкого. Я знаком немножко с теми французскими книгами, о которых вы упомянули. И в Москве случалось встречаться с молодежью… Если бы господин Ховецкий прочел…

– Он прочтет, прочтет непременно! – весело воскликнул Звягин, который в эту минуту входил в комнату. – Прочтите, Ховецкий, ваш «Синий гроб» или «Тени неистовства». Не ломайтесь, пожалуйста, ведь уж читали при мне.

Ховецкий опять густо вспыхнул, посмотрел на Чирко, прокашлялся басом и начал:

Лежу я в синем гробе
На самом краю земли.
На самом краю земли
Я лежу в синем гробе.

Читал Ховецкий стихи так, как будто на кожаном барабане отбивал вечернюю зорю. Отбив зорю – он умолк.

– Ну что, каково? – спросил Звягин, улыбаясь в сторону Кириллова. – Неопытно, конечно, но, по-моему, есть какая-то нежность.

Кириллов не знал, смеется Звягин или говорит серьезно. Подумав, он решил, что в душе Звягин смеется, но не хочет огорчить юношей.

– По одному стихотворению трудно судить, – сказал Кириллов. – Если бы молодые люди были добры прочесть нам еще что-нибудь…

Юнкера, с почина Ховецкого, вдруг разошлись. Стихи стали читаться наперерыв. Стихи были все так похожи, что казалось – их писал один и тот же человек. И читались они одинаково. В конце Чирко прочел отрывок прозы – и проза была похожа на стихи, разве что заключала в себе несколько больше пикантности, которую Звягин тотчас же назвал смелостью – и Чирко кивнул одобрительно головой.

– А вы какие же, собственно, книжки читали, из французских – вы говорили? – поинтересовался Кириллов.

– Мы читали «В теплице», потом еще три – нам делали переводы. И еще одну, прозой.

– И чьи, вы не помните?

– Нет, я не запомнил.

– А больше ничего не читали?

– Нет, кроме этого – мало… Да вы знаете, мы еще ни о каких французах и не слышали – а уж писали стихи, совершенно подобные же… Это уж в воздухе, веяние. Вот Ховецкий…

И услужливый Чирко откровенно рассказал Кириллову обстоятельства возникновения их «кружка».

Кириллов внимательно слушал и только что хотел возразить, как в передней позвонили.

Звягин выскочил к двери, там раздался шепот и шорох женского платья.

# VI

В комнату вошла Юлия Никифоровна Бонч, та самая рыжеватая барышня, переводчица с испанского, которая на вечере Лукашевича столь усердно следила за каждым словом референта.

Но сегодня довольное выражение ее лица сменилось грустным и тревожным. Ее, очевидно, что-то беспокоило. И беспокойство делало ее гораздо лучше, приятнее, даже красивее. Лицо стало добрым, умным, в светлых глазах было что-то искреннее, материнское, печально преданное. Серое платье мягкими, свободными складками падало с ее костлявых плеч. Ее фамилия так не шла к ее чересчур худой фигуре.

Увидав Кириллова и вспомнив, где она встретилась с ним впервые, – она испугалась и не обрадовалась. Юнкеров она знала и дружески подала им руку.

Она не ждала встретить кого-нибудь у Звягина. Она неловко села в громадное, зеленое кресло и с растерянностью смотрела на гостей.

– Молодые поэты читали нам свои стихи, – сказал Звягин. – И Геннадий Васильевич только что хотел высказать свое мнение, когда вы пришли.

Глаза Юлии Никифоровны обратились в сторону Кириллова.

– Нет, я ничего, – произнес Кириллов добродушно. – Я ничего особенного не хотел сказать. Мне очень интересны произведения молодых людей, и сами молодые люди, потому что я в первый раз наблюдаю так называемых декадентов в обстановке оригинальной, в военной среде, в училище… У нас в Москве мне случалось года два-три назад встречаться с подобным явлением, но, во-первых, все это было несколько шире выражено… то есть не шире, вряд ли здесь употребимо это слово, а более сложно… Во-вторых, декаденты наши всего чаще из выключенных студентов, из литературных неудачников…

– Мне кажется, вы слишком мало придаете значения явлению, во всяком случае интересному, – мягко возразил Звягин. – Тут надо кое с чем считаться… Новизна выражений, самая непонятность…

– Новизна? – с удивлением и прежним добродушием переспросил Кириллов. – Какая же тут новизна? И непонятности нет. Я бы мог самыми обычными словами рассказать содержание прочитанных стихов. Вот в том-то и горе всех этих молодых людей, что они не знают, как декадентство старо.

– Старо? – воскликнул бойкий маленький юнкер, соскакивая со стола. – Ну уж это извините. При чем тут старо, когда это и есть самое новое?

Звягин засмеялся, увидав волнение юнкеров. Нельзя было решить, смеется ли он над ними, или станет защищать их от Кириллова. Кириллов, впрочем, не сомневался, что он на

его стороне и потому прямо обратился к нему:

– Помните, Лев Львович, у Оскара Уайльда есть хорошие слова: «Каждый век для нас интереснее нашего собственного». Ничто так быстро не делается старомодным, как современное. Вот и декадентство, которое теперь даже мало практикуется и у нас, – крайне старомодно. Кажущаяся непонятность, вычурность, подчас невинная нелепость – все это имело шик в Париже лет десять тому назад, имело смысл, как естественно утрированный протест против материализма, как все равно какой протест, хотя бы неразумный, а перенимать это теперь, переносить, не вникая в суть, к нам – согласитесь, не нужно и смешновато. Мода парижская, являющаяся у нас через десять лет. Мне вспоминается пирог, который пекли в 06-ломовке в воскресенье. В воскресенье, на господском столе, он был мягкий, а когда в пятницу доходил до водовоза Антипа – от него оставался только один твердый угол, да и тот без начинки. Слава Богу, в последнее время все это оригинальничанье и у нас уже проходит. Тут даже бороться незачем, само отпадает, естественно.

– Однако, вы слишком жестоки… В молодежи всегда есть некоторая сила, – сказал Звягин, улыбаясь.

– Да я ничего. Я очень хотел бы показать молодым людям, как обстоит дело. Жаль, когда способности мальчика идут на неумные пустяки. Конечно, военная молодежь в закрытом заведении менее может уследить за изменениями моды. Молодые люди ни с какими книгами по этому вопросу и по-

знакомиться не успели, откуда же им знать, что декадентство теперь не мода, не новизна, а отсталость, варварство?

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.